



Александр
Секацкий

**ЖЕРТВА
И
СМЫСЛ**



ЛЮДИ И КНИГИ

Александр Секацкий
Жертва и смысл

«Издательство К.Тублина»

2019

УДК 82-43
ББК 84 (2Рос-Рус)6

Секацкий А. К.

Жертва и смысл / А. К. Секацкий — «Издательство К.Тублина»,
2019

ISBN 978-5-6044906-0-0

Книга «Жертва и смысл» – плод философских и культурологических изысканий автора последних лет. В свойственной ему парадоксальной форме Александр Секацкий представляет результаты своих размышлений о жертвенных практиках, о некоторых классических проблемах натурфилософии (истина, время, познание), а также любопытные и оригинальные соображения на тему истории и геополитики. Для широкого круга читателей. В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 82-43
ББК 84 (2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-6044906-0-0

© Секацкий А. К., 2019
© Издательство К.Тублина, 2019

Содержание

Раздел 1	6
1. Жертва и созидание	6
Вопрос о смысле	6
Парадоксальная логика	6
Обратимся к метафизике	7
Аскетическое и жертвенное	9
Жертвы угодные и негодные	10
Логика демиургического созидания	11
Жертвенный кризис, Новое время и современность	11
А что искусство?	13
Холокост символического	16
Символ христианства	17
2. Танец Шивы	19
Музыка гибели и танец смерти	19
Христианские параллели	21
Направление главного удара	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Александр Секацкий

Жертва и смысл. Очерки

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

© А. Секацкий, 2019

© Фонд «Люди и книги», 2020

Раздел 1

Жертвенные практики: метафизический аспект

1. Жертва и созидание

Вопрос о смысле

В антропологии, практически во всех ее версиях – от полевой этнографической антропологии до метафизических текстов Батая, Кайуа и Макса Шелера – тема жертвоприношения проходит красной нитью или, по крайней мере, пунктиром и особенно ярко проступает там, где нет сколько-нибудь внятных рациональных объяснений. В огромном массиве антропологической литературы подробно описаны детали соответствующего ритуала, описаны жертвенники и святилища, которые, чем архаичнее эпоха, тем ближе оказываются друг к другу вплоть до исходной неразличимости, как если бы когда-то, сотворив человека, демиург обратился бы к нему с первыми словами: «И вот тебе жертвенник для всеожжения, и да не будет тебе других святилищ кроме него!» Потребовалось время, если угодно, время остывания, чтобы появились и иные святилища, святилища другого типа, способные поддерживать некую альтернативную связь с богами, с тем светом...

Подробно, тщательно описан «состав» жертвенного приношения и последовательность церемоний, исследованы этапы эволюции, которая в обобщенном, кратком виде выглядит так: прямая жертва, замещающая жертва, жертва символическая – то есть преобладает ранжирование по принципу облегчения (инфляции) ставки. Выделяются и другие модальности жертвоприношения: жертва предварительная, компенсирующая, искупительная. Хуже всего дело обстоит с попытками объяснения, например, с мироустроительной функцией жертвоприношения.

Из многочисленных описаний, от Фрэзера до Рене Жирара, мы узнаем, что «верить», «приносить жертву», «быть человеческим существом», «поддерживать жизнеспособность социума» – понятия близкие, переходящие друг в друга. Но остается неясным, что же в них созидающего, какова характеристика великой производительной силы жертвоприношения?

Что, собственно, производится этим актом? В общих чертах можно согласиться с Батаем, Кайуа и Жираром: свобода и суверенность – то есть фундамент человеческого в человеке. Но как именно и почему? Все это пока остается тайной.

Парадоксальная логика

Есть плоская геометрия Пифагора – Евклида, существует стереометрия в разных вариантах, есть и современная алгебраическая геометрия – причудливая, невероятная и необозримая, если стоять внутри Пифагорова треугольника, но, в конечном счете, объясняющая и санкционирующая этот самый треугольник. И логика расширялась и преобразовывалась – от аристотелевской силлогистики до математической логики и логики возможных миров; диалектика тоже есть логика высоких измерений, как бы к ней ни относиться. Как же она работает в случае жертвоприношения, как объясняет этот демиургический акт учреждения трансцендентного? Здесь мы имеем дело с самым ядром универсального космогонического мифа. Например, жертвоприношение Пуруши, которого приносят в жертву, рассекая на части, а затем из этих же частей вновь составляют тело. Это можно понять как пересотворение: сначала заго-

товка и лишь затем, после жертвоприношения, *сам человек*. Без жертвоприношения человеческое еще не конституировано, и Пуруша, скорее, Голем до этого высшего демиургического акта.

Авраам заносит жертвенный нож над Исааком, он готов принести в жертву не себя, а того, кто дороже ему, чем он сам – единственного, долгожданного (всю жизнь) сына, – и нет сомнений, что он сделает задуманное, если только сам Господь не отведет его руку и не усмотрит другого агнца для всесожжения. Перед нами Жертвоприношение с большой буквы, и оно есть основа Завета, и остается лишь удивляться, как стыдливы и трусливы интерпретаторы, внушающие разными способами читателю, что Господь не мог и не собирался принимать жертвоприношение Авраама (интерпретаторы, особенно сегодняшние, наивно полагают, что паства не вынесла бы такого Бога, который, не дрогнув, принял бы жертву, хотя для первых уверовавших требовалось объяснение как раз тому, почему Бог руку Авраама отклонил, поставив под угрозу надежность Завета).

Еще один бог, собственно, Один, требовал себе регулярной жертвы, и когда ничего подходящего не оказалось, принес себе в жертву самого себя. Он совершил операцию, непосильную для диалектики, – и подобными примерами полны космологические системы мира. Но, не вдаваясь в антропологические тонкости, поставим вопрос ребром: почему же непременно нужно лишать жизни, убивать, истреблять, терять и отказываться для того, чтобы учредить человеческий мир и обрести прочные устои? Почему бы не прибегнуть к вариации какого-нибудь благого пожелания типа «давайте жить дружно»? Или взять популярный лозунг одомашненной Европы «мы такие разные, и все-таки мы вместе» – почему же ни в одной космогонии мир не начинается с таких или подобных слов? С девизов дружбы, приветливости, терпимости? Дело всегда обстоит иначе: либо мы совершим жертвоприношение, оказавшись втянутыми в деяние добровольно принятой и даже приглашенной смерти, либо с экзистенциальным измерением бытия ничего не выйдет – реактор по производству души не заработает.

Вслед за принесенной жертвой начинается избывание, искупление, если угодно, утление боли, муки, но все дело в том, что этой муке нельзя было избежать. Можно установить, восстановить мир, если мириться, но если нет повода «мириться», то нет и мира. А что есть? – глиняная заготовка, которую следует омыть горячей жертвенной кровью, иначе она не станет человеческой плотью, так и останется глиной.

Нужно также удивительным образом приостановить простую транслируемую тавтологию «*a* есть *a*», рассечь ее и произвести неравенство, вызвать инопричинение изнутри самопричинения. Что-то вроде такого:

a есть *a*

a есть *не-а*

a есть *b*

И вот теперь *a* есть воистину *a*.

Впрочем, одна и та же логическая сила может скрывать в себе вещи, не имеющие отношения друг к другу, может скрывать решающие различия.

Обратимся к метафизике

А что же философия с ее важнейшей задачей описывать решающие акты производства человеческого в человеке? Что она говорит о жертвенности и созидании? Увы, немного, в основном то, что и так знает антропология: *жертва лежит в основе солидарности, свободы и суверенности*. Жертва положена в основу важнейших человеческих вещей, как принесенное в жертву животное кладется в основу, в фундамент возводимого дома, которому предстоит стоять долго и давать приют полноценной человеческой жизни. И если ты не принесешь жертву, ты не защитишь свой кров (основы общежития) – что и подтверждает совокупный опыт архаики.

На вопрос, почему, собственно, не защитишь, почему именно для *мирности мира* требуется возобновляемое жертвоприношение, свой ответ дает Рене Жирар: суть в том, что наступает жертвенный кризис. Если вкратце резюмировать ход мысли Жирара, получится следующее: в обществе накапливается сорное, не канализованное насилие, и оно должно быть сосредоточено на подходящей жертвенной фигуре, как бы втиснуто в нее и правильно погребено в огне жертвенника. Лишь тогда происходит избывание, новое тело Пуруши может вздохнуть полной грудью. Но жертвенный кризис, как ясно из самого термина, призван объяснить очистительную работу жертвоприношения, но не его первопричину. Она же сама вновь ускользает от объяснения, дело ограничивается констатациями, хотя и они, конечно, достаточно важны.

Этимология индоевропейских философских терминов более или менее ясна, выявлены базисные метафоры: универсальная метафора ткачества (ткань (text), основа и уток, связующая нить), метафора строительства (фундамент, устой, архитектоника) – и что уж говорить про оптикоцентрическую, или паноптическую, метафору. С «жертвенной» метафорой дело в языке философии обстоит куда сложнее и запутаннее.

Конечно, вспоминается «работа негативности», которую Гегель рассматривал как основу живой жизни понятий¹. Гегелевская негативность, как справедливо отмечает Кожев, лежит в основе самости и протеста², и жертвенное начало проглядывает в ней, особенно когда Гегель говорит об абсолютной разорванности, на которую тем не менее следует решиться. В каком-то смысле притягательность гегелевской философии, ее удивительная применимость вытекают из близости к великой жертвенной практике, но мешают опасения, которые Гегель так и не смог преодолеть. Если угодно, это слишком прямое и поспешное сведение жертвоприношения к «пользоприношению», попытка удержать их в одном плане имманенции. Между тем жертвоприношение учреждает мир суверенности и если и приносит пользу, то лишь такую, которая будет точно бесполезной здесь и сейчас, точнее, будет губительной для текущего пользоприношения.

Жертвенность не вытекает ни из какой логики, она выстроена не как инобытие, а как трансцендирование, она в каком-то смысле является более радикальным трансцендированием, чем смерть. Смерть наступает и достойных и недостойных, она ожидаема и всегда лишь отложена, отсрочена: существуют ситуации и контексты, в которых ожидание смерти не отличается от ожидания ужина.

Но жертва, особенно в ее соотношении с самой собой, как самопожертвование, обостряет неразборчивую смерть собственным сознательным выбором, включая факт, место, день и час. Да, никто не знает ни дня, ни часа своего – никто, за исключением приносящего себя в жертву.

И это, конечно, трансцендентальный акт созидания, запуск новой причинности *causa sui*. То есть жертвоприношение есть способ определиться на местности, если под «местностью» понимать рельеф бытия. Учреждается ось координат, уходящая в трансцендентное, где сейсмический центр новой причинности, исходящей от эксклюзивной точки, перебивает действие «старой» причинности, уже не способной причинять ничего существенного, ничего экзистенциального (закон свободы отменяет законы природы – согласно Канту). И это как раз сила созидания.

«Если Бога нет, то все позволено», – утверждает герой Достоевского. Скажем теперь так: если жертвоприношения нет, если оно не совершается больше, то ничего не доступно, ничего из того, что принято относить к высшим человеческим устремлениям. Жертвоприношение открывает горизонты далекого доступа.

¹ Гегель Г. В. Ф. Наука логики. – СПб., 2012. – С. 383.

² См.: Кожев А. В. Идея смерти в философии Гегеля. – М., 1998.

Аскетическое и жертвенное

Удивительно, но учреждающую, мирозозидающую роль жертвоприношения практически без внимания оставил Ницше. Зато его внимание непрерывно привлекала аскеза и аскетический идеал – нечто близкое и родственное жертвоприношению, хотя степень этого родства установить не так просто. Вспомним его знаменитое определение аскетизма: «Жизневраждебная специя, необходимая для произрастания самой жизни»³. То есть жало аскезы направлено туда же, куда и жертвенный нож: возникает искушение рассмотреть аскезу как жертвоприношение, растянутое во времени. Следует приостановить простую экспансию присутствия по линии наименьшего сопротивления и обратить силу преодоления на себя самого. И тогда что – произойдет «разбиение сосудов» согласно философии Хабада? Прежние враги придут на помощь? Будет предотвращен незаметный захват самости?

Да, все это и многое другое: авторизация, обретение суверенности, учреждение себя как иного и иного как себя... Самое глубокое понимание этих моментов, как всегда, присутствует у Достоевского. Вот что говорит старец Зосима:

«Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились, а, напротив, всякий сюда пришедший, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле... И чем долее потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и сознавать сие. Ибо в противном случае незачем ему было приходить сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и перед всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется»⁴.

Чтобы получить благодать, святость и силу, нужно оказаться виновнее всех, принести в жертву счастливое, уверенное в себе сознание и взамен – приобрести мир. То есть, скорее, учредить мир, который теперь будет стоять на его, инока, деянии.

Возникает вопрос: но ведь уклонившиеся от жертвы не претерпели урон, они сохранили себя и свое – почему же не им принадлежит приоритет в созидании? Или не тем, кто действует по принципу «на тебе, Боже, что нам негоже»?

Обладать приоритетом можно, лишь вступив в жертвенное отношение и по его итогам. То есть нужно авторизоваться, воистину став хозяином своего – но разве можно стать суверенным властителем своего, без реализации права на отчуждение, дарение, уничтожение? Вспомним расхожий софизм: «То, что ты не потерял, то у тебя есть, тем ты располагаешь. Но ты не терял рога, значит, они у тебя есть...» Теперь, улыбнувшись, преобразуем этот софизм в настоящую философскую максиму: «Того, что ты не терял, у тебя, в сущности, и нет, или *все равно что нет*».

Недостающее можно приобрести, но лишь потерянное – обрести. Обретения нет без потери и утраты. Жертва интенсифицирует и приумножает обретение, придавая ему новый статус. Так, лишь жертвоприношение позволяет обрести самого себя, оно же может помочь обрести друзей среди прежних врагов. Или дать жизнь богам, если понимать бога как объект возобновляемых жертвоприношений – для структурализма это вполне работающее определение. А если ты не сотворишь богов, то как получишь их покровительство? Таков круг кулы, таков же и непорочный круг жертвоприношения. История о том, как и когда умерли бессмертные боги Олимпа, проста и к ней нечего добавить: когда им перестали приносить жертвы. Ими, их изваяниями и изображениями, продолжали любоваться, истории о богах продолжали слушать и читать, это с удовольствием делают и по сей день. Но когда Зевсу перестали приносить

³ Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. – М., 1990. – С. 489.

⁴ Достоевский Ф. М. Собрание соч. в 15 т., т. 9. – С. 353.

в жертву быка, а Артемиде агнца, когда погасли огни жертвенников, оставалось лишь констатировать: боги мертвы. В это же самое время угас и дух Эллады, и сама античность погрузилась в Аид, в царство теней, в царство мертвых.

Жертвы угодные и негодные

Каин стал изгоем еще до того, как перестал быть сторожем брату своему:

«И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел» (Быт. 4:2–4:5).

Так в Ветхом Завете вводится важнейшая дихотомия угодной и негодной (отвергнутой) жертвы, что делает самое радикальное человеческое деяние еще более радикальным. Задумаемся над этим. Бог может отвергнуть жертву, отклонить без объяснения причин – «не призрел» и все. Яхве просто дает Каину совет, как быть дальше, не объясняя, почему Он призрел жертвоприношение Авеля, а Каиново отверг. Допустим, Каин выбрал бы стратегию сбережения, проявил жлобство и не принес бы жертвы Господу. Тогда отвергнутость самого Каина не вызвала бы вопросов: не совершающий жертвоприношения не участвует в созидании души. Но Каин принес жертву, и нигде не сказано, что она стоила ему меньше, чем Авелю. Дело вовсе не в этом, а в том, что Господь *не призрел* ее.

Дело также и в том, что в истории с Авраамом (вновь вернемся к ней) вся поздняя теология неверно расставляет акценты. Вот Авраам занес руку с жертвенным ножом, но Господь отвел его руку. Но мы спешим представить себе тот ужас, который ожидал бы Авраама (и нас), если бы Бог не отвел его руки и Исаак был бы повержен, лишен жизни. Как уже отмечалось, мы неверно представляем себе самое ужасное для Авраама. Мы забываем главное: Господь отвел руку Авраама, но он *принял* его жертву. Самый ужасный ужас для Авраама состоял бы в том, если бы Бог, отведав руку, отклонил бы и жертву. Тогда Авраама постигла бы участь Каина. Его семья не получило бы благословения, и сохраненная жизнь Исаака вряд ли утешила бы Авраама *в этом случае*. Вспомним Каинову участь: отвергнутая жертва обрекла его на то, чтобы быть сторожем успехов брата своего, получившего обетование и благословение. Каин отказался быть «сторожем брату своему» и перешел грань между негодной жертвой и проклятием.

Великое чаяние всех времен и народов состоит не в том, чтобы обойтись без жертв, оно гласит: «Чтобы жертвы наши были не напрасны». Да избегнет нас Каинова печаль и следующая за ней Каинова печать. Но пути Господни неисповедимы даже в этом, точнее говоря, в этом прежде всего.

Важнейшим условием высшего обещания и обетования является хорошая память, вопрос в том, чья именно. Крайне существенно, чтобы *давший обещание* не забыл его, чтобы он не пожалел усилий для исполнения обещанного – об этом исчерпывающе написал Ницше в «Генеалогии морали». Однако, если давшие обещания забудут их или не смогут исполнить, мир все-таки устоит. Ведь подобное положение вещей существует и сегодня и именуется политикой. Но вот если обещанное забудет тот, *кому* обещали, мир может рухнуть – потому-то Бог есть непремный гарант того, что ему обещано. Бог есть тот, кто не забывает обещанного Ему, и на этом держится мир.

Но с жертвоприношением ситуация другая. Здесь мы имеем дело с предельным теургическим жестом: лишь человек жертвующий обретает богов, но, одновременно, божественное неразрывно связано с возможностью отклонения жертвы, и капризность здесь ни при чем, она возникает в случае человеческого вторжения в эту монополию Всевышнего.

Логика демиургического созидания

Решающе важным моментом является неизменность дистанции между принесением жертвы и принесением пользы. Эту важность можно пояснить с помощью нескольких незатейливых изречений.

Наши *партнеры* – это те, кому мы приносим пользу, и поскольку данное отношение может быть только симметричным, они тоже приносят пользу нам, иначе речь идет об эксплуататорах и поработителях, а не о партнерах. В более узком и строгом смысле слова это диапазон взаимной выгоды. Партнерские отношения выступают в качестве регулятивного принципа слишком человеческого; мир, в котором все приносят пользу друг другу, остается хоть и недосягаемым, но понятным.

Наши *близкие* суть те, кому мы приносим жертву – при условии, что жертва принимается. Идеал и регулятивный принцип близости – согласованность встречных жертвоприношений. В простейшем случае это взаимная усталость ради и во имя друг друга. Но если жертва отвергается, близкий человек превращается в предателя, мучителя или бесчувственное чудовище.

А *боги* – это те, кому приносят жертву без каких-либо гарантий, что жертва окажется угодной и будет принята.

Подобный выбор знает и любовь – в тех случаях, когда мы обожествляем любимую или любимого, и самое удивительное в том, что на какое-то время любовь может это пережить. Здесь кроется некий упущенный смысл тезиса «Бог есть любовь» – воистину божественное в любви вовсе не созерцание небесных сфер и диалектических переходов и не безграничное милосердие, проходящее по собственному ведомству, а квинтэссенция жертвенности – право отвергнуть жертвоприношение любящего и остаться при этом любимым. То есть право играючи воспользоваться эксклюзивной прерогативой Бога, которой не обладает никто из земных властителей, кроме любимой и любимого.

Жертвенный кризис, Новое время и современность

Новое время характеризуется не просто распадом жертвенных практик, можно сказать, что отлив жертвоприношений служит конституирующим фактором Нового времени как такового, – об этом говорят и Ницше, и Жирар. Но теперь у нас появляется возможность взглянуть на дело иначе. Да, всеобщая редукция ставок бросается в глаза; даже остающиеся еще символические и замещающие жертвы утратили в сознании участников связь с жертвенным началом и воспринимаются как досадные, неизвестно почему сохраняющиеся помехи и задержки созидания, сегодня девиз «обойтись без жертв» становится символом успеха в любом деле.

Презумпция сохраненности сегодня декларируется в качестве универсального этического принципа, что означает замену жертвоприношения пользоприношением во всех регионах человеческого присутствия.

Жертвенная практика изменилась институционально, но это отнюдь не значит, что она исчезла навсегда. Сегодня жертвенный кризис состоит, скорее, в другом – в наступлении эпохи *неугодных жертв*, жертв непринятых и отвергнутых. Примерно в это же время стали говорить о богооставленности, которая не обязательно должна быть связана со смертью бога, с упадком его всемогущества. Достаточно того, чтобы Бог *не призрел* ряд приносимых ему жертв, отверг их одну за другой и тем самым не возобновил завета. Он еще не отвергает даваемые ему обещания, но угодных ему жертв становится все меньше и, видимо, как следствие, меньше становится и жертвоприношений вообще.

Особенное отчаяние это должно вызывать у великого жреческого народа, чьи жертвы когда-то были так угодны, что последствия сказываются до сих пор. Представители народа и

в самом деле размножились, как песок морской: в науке, в культуре, во всем символическом производстве и в современных элитах. Но это было давно, быть может, жертвоприношение Исаака было последней великой жертвой, одобренной свыше. С тех пор шли только сбои и неудачи, по сути, напрасные жертвы...

В спекулятивном смысле это выглядит так. От испанского изгнания и до наших дней продолжается черная полоса. Ничего не дало жертвоприношение России, в которой евреи стали первенцами, обрели первородство. Холокост, если трактовать его в соответствии с названием как всеожжение на жертвенном огне, был (и в этом весь ужас) напрасной жертвой – таково самоощущение большинства уцелевших жертв. Лишь немногие, верующие так, как веровали Авраам и Моисей, терпеливо ждали, пока Б-г примет жертву, и обретение государства Израиль стало для них знаком, что жертва была угодна Господу. Что касается непомерных потерь, то как раз они, верующие в Бога Авраама, Исаака и Иакова, знали, что нрав Его всегда был суров и со времен Содома и Гоморры ничуть не смягчился. Да, раз в тысячелетие Он может отвести занесенную руку с ножом от Агнца, но может и не призреть искренней жертвы, и обратить песок морской в бетон для Стены Плача.

С точки зрения «величайшего жреческого народа», как называл его Ницше, после обретения Царства на повестке дня должен стоять Храм. И поскольку текущая жизнь проходит во времена Неугодных Жертв (такие уж времена), то при самом тщательном отношении к отделению агнцев от козлищ, к выбору чистых и непорочных для Всеожжения, возможно, потребуются еще не одна попытка.

Пожалуй, еще рано подводить итоги последней по счету попытки, но, кажется, Яхве и на этот раз отвратил свой лик. А ведь жертвенный проект, так и не получивший единого, общепринятого имени (в числе пробных названий – «неогуманизм», «толерантность», «политкорректность», глобализм) был осуществлен в планетарных масштабах. В жертву вроде бы принесены лучшие: самостоятельно мыслящие, наделенные высоким уровнем притязаний, люди из колен Эйнштейна и Фрейда. Им пришлось уступить свое первородство *малым сим* и даже малейшим из малых. Эталоном нового человечества были избраны (или назначены) кроткие, незлобивые, несчастные, выпускники спецшкол, для которых верхом карьеры может служить работа в пиццерии, клинические и социальные аутисты, наконец уверовавшие в социальную рекламу как в скрижали Завета, словом, хуматоны, закваска нового человечества. Их запросы и были утверждены в качестве оптимального уровня притязаний (а что сверх того, то от лукавого, то гордыня и суета сует), в результате чего носители бóльших возможностей стали, скорее, носителями отклонений. Но главное то, что незатейливое счастье хуматонов было возведено в эталон насыщенной, состоявшейся жизни, стало образцом успешной, признанной самореализации.

Воистину удивительный вид имеет этот спектакль со стороны. Вот обладатели изощренного ума, высоких амбиций, настоящей душевной широты, словом, традиционные претенденты на роль лучших, обладатели качеств признанной элиты. И все это предстояло принести в жертву носителям незатейливого счастья, умерить свой уровень притязаний до их уровня, устыдиться своего превосходства, которое ныне считается вовсе и не превосходством, а обременением.

Всем инстинктам жизни надлежало пройти *денатурацию*, когда сначала было отключено сверхъестественное, а затем извращено и денатурировано и естественное. С какой-нибудь удаленной, инопланетной дистанции это выглядит как преклонение перед уродцами, отщепенцами в виде «щечок», которые из всего диапазона души удерживают только узенький участок. Причем они как бы отщепенцы «с разных боков», объединенные лишь общим принципом денатурации, извращенностью того или иного инстинкта или, наоборот, гипертрофией той или иной частичной способности. Не о них ли писал пророчески Ницше в своем «Заратустре»:

«И когда я шел из своего уединения <...> я не верил своим глазам, непрерывно смотрел и наконец сказал: “Это – ухо! Ухо величиною с человека!” Я посмотрел еще пристальнее: и действительно, за ухом двигалось еще нечто, до жалости маленькое, убогое и слабое. И поистине, чудовищное ухо сидело на маленьком, тонком стебле – и этим стеблем был человек! Вооружившись лупой, можно было разглядеть даже маленькое завистливое личико, а также отечную душонку, которая качалась на стебле этом. Народ же говорил мне, что большое ухо не только человек, но даже великий человек, гений. Но никогда не верил я народу, когда говорил он о великих людях, – и я остался при убеждении, что это – калека наизнанку, у кого всего слишком мало, и только одного чего-нибудь слишком много.

<...>

Поистине, друзья мои, я хожу среди людей, как среди обломков и отдельных частей человека!»⁵

Никакой здравый смысл не может вместить этой нелепости – только логика жертвы может как-то описать ситуацию: носители Первородства преклоняют свои снопы перед бастардами и недоносками, сон Иосифа как бы реализуется в обратном направлении: как только появляется тугой сноп со свежими жизненными силами, вокруг него тут же встают косые, кривые и трухлявые снопики, а очередной Иосиф Прекрасный поклоняется им и просит прощения за то, что не был *особым ребенком*, за то, что он не разносчик пиццы, не активист гей-сообщества и вообще ничего не сделал для того, чтобы облегчить положение геев в Катаре и суннитов в Сирии, которых кровавый режим Асада лишил возможности истреблять христиан. Вместо этого он, студент Кембриджа, солист Ла Скала, конструктор коллайдера – так пусть же сноп его поникнет перед снопами сухими и кривенькими, пусть не портит общей картины, когда одобренный горизонт признанности выравнивается по минимальному уровню притязаний (то есть ниже плинтуса), а *выдающиеся* пусть выдаются незримо и тихо, не забывая славить продукты денатурации как соль земли.

Этот грандиозный жертвенный проект поначалу шел почти без сбоев, истеблишмент стыдливо признал первородство новых носителей духовности и должным образом организовал поклонение им. Казалось уже, что Господь принял, призрел эту жертву и восстановление Храма не за горами... Но все изменилось в одночасье: восстала из пепла Россия, как птица Феникс, восстановив собственное жертвенное священнодействие, затем обозначили свой выбор народы Европы и Америки, выбор совершенно неожиданный для жрецов Транспарации. Нормальные граждане, носители здравого смысла, не захотели быть агнцами для всежжения и, словно бы стряхнув наваждение, вырвались на свободу.

Конечно, об окончательных итогах судить пока рано, но похоже, что и эта, тщательно подготовленная жертва оказалась неудобной Б-гу Авраама, Исаака и Иакова – что позволяет нам и вправду охарактеризовать Новое время как эпоху отвергнутых жертв, откуда естественно вытекает замена подлинного созидания (включая творение *ex nihilo*) тиражированием и репликацией наличных форм вещественности и социальности.

А что искусство?

Европейское искусство стало преемником сакральной трансляции, если угодно, религии, и это произошло *только* с европейским искусством. Лишь в Европе художник попробовал себя в роли священнослужителя, жреца и пророка – и распробовал себя в этой роли, и понравилась она ему.

Статус произведений искусства как нетленных и нерукотворных, уже начиная с эпохи Возрождения, находится гораздо ближе к святыням, чем к ремесленным изделиям в самом

⁵ Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. – М., 1990. – С. 100.

широком смысле слова, несмотря на «хищный глазомер простого столяра» (О. Манделштам) и на внутрицеховые признания того же рода. Европейское искусство на протяжении нескольких столетий функционирует как светская религия, где почти каждый параметр практикующей церкви имеет свои параллели. Даже биографии художников, прежде всего их художественные и легендарные биографии, охотно воспринимаются как жития святых – достаточно вспомнить Леонардо, Моцарта, Ван Гога, Пушкина или Толстого.

Но если это так, то рассмотрение искусства как жертвоприношения должно быть воспроизведено со всей тщательностью, ведь жертвенное приношение и есть главное священнодействие, одобренный или отвергнутый проект благословения к созиданию.

Если говорить в самых общих чертах о феномене европейского искусства, необходимо признать, что жертвоприношение художника увенчалось успехом, его жертва была благоклонно принята свыше, Господь *призрел* ее. Это произошло в эпоху Возрождения и свершилось во всех измерениях реальности сразу – в экзистенциальном, социальном и историческом, но, разумеется, с разной скоростью. Вот «на входе» мы видим бродячих актеров, циркачей, скорморохов, странствующих художников (рисовальщиков), голодных поэтов (вагантов), готовых воспевать подвиги господина в обмен на скромное место за пиршественным столом. В совокупности их всех не так много, малочисленное племя, которому предстоит получить благословение и обетование свыше. Среди прочих мастеров-ремесленников, разных кузнецов, ткачей, оружейников, они выделяются разве что особой нуждой и неприкаянностью – это на входе.

А на выходе, по прошествии нескольких столетий, мы видим подлинную элиту общества. Теперь художник это тот, кем мечтают стать, актриса, играющая на сцене или тем более на экране, – та, о ком говорят с придыханием, поэт – Председатель Земного Шара, а музыкант...

– С добрым утром, Бах, – говорит Бог.

– С добрым утром, Бог, – говорит Бах.⁶

И размножилось это прежде немногочисленное племя как песок морской, никогда, ни в какой религии не было столько жрецов и пророков... Да и среди прочих, каждый второй – поэт в душе, каждый третий – непризнанный художник. Признанность, конечно, лимитируется «величиной прихода», но возможно депонирование вкладов «до востребования», ибо вклады *нетленны*.

Денежное вознаграждение, конечно, запаздывает, поскольку оно обусловлено обетованием другому богу (Мамоне), но в какой-то момент приходит и оно, свидетельством чему Голливуд, гламур и шоу-бизнес в целом. Некоторое презрение *настоящих художников* к ловцам такого рода благополучия как раз и объясняется его происхождением от другого бога, обогащаются, так сказать, «выкресты» в среде художников, как бы сменившие кредо.

И все же в целом, со времен принятой с благосклонностью жертвы Авеля, трудно найти другой такой, столь же убедительный и вдохновляющий пример. Да, великое жертвоприношение состоялось и дало, толчок созиданию миров. По большей части миров химерных и эфемерных. Но некоторые из них сохранили и продолжают сохранять, так сказать, всхожесть семян. К ним следует присмотреться повнимательнее, но прежде задумаемся: а что, собственно, было принесено в жертву? И/или кто? Общие метафизические соображения тут ничего не подсказывают, зато на помощь приходит один анекдот – анекдот о русском писателе.

Итак, по писательскую душу приходит Сатана и начинает искушать. То есть предлагает жесткий экзистенциальный выбор:

⁶ Александр Галич.

– Выбери. Ты обретишь всемирную славу. Твои книги будут читать. Переиздавать и преподавать. Тебя будут узнавать на улицах, ты получишь Нобелевскую. Собратья по цеху лишатся сна от зависти. Но взамен ты потеряешь своих близких и всех родственников. Выбери.

И писатель начинает думать. Рассуждая про себя. И отчасти вслух:

– Так. С одной стороны – всемирная слава. Нобелевка. Зависть этих, как его, собратьев... Блеск! С другой стороны – никогда не увижу близких, потеряю родственников – и шуринов! и деверей! и свояков! Черт возьми, ну никак не могу понять, в чем же здесь прикол...

В этой короткой притче содержится исчерпывающий ответ: вот что и вот кто были принесены в жертву. А о том, что жертва была чистой, совершенной от всей души, свидетельствует как раз тот факт, что настоящий, самозабвенный писатель (художник) не может даже понять, в чем прикол. «Оставь отца своего и мать свою», – говорит Иисус. Вот и художник однажды без всякой подсказки принес эту жертву – во имя допуска к священнодействию, ради благодати и Первородства в обладании ею⁷. И Господь, как уже было сказано, призрел эту жертву.

Но жертвоприношение требует возобновления – созидательный потенциал, обретенный на огне жертвенника, угасает. Мерцающий режим души в значительной мере наследует мерцающему режиму жертвоприношения. Понятно, что облагодетельствованный художник, чье племя размножилось, как песок морской, не может рассчитывать на вечные гарантии.

То, что искусство находится в кризисе, мы слышим сегодня отовсюду – и это правда, слишком многое свидетельствует об этом. Но правда и в том, что кризис, о котором идет речь, в значительной мере и даже прежде всего есть жертвенный кризис. Данное однажды благословение почти иссякло, его удивительные плоды в значительной мере обналичены «медными деньгами». То есть внутри благословенного племени произошел раскол, и некоторая его часть совершила незаконную, не предусмотренную обетованием сделку, продав первородство за чечевичную похлебку. Вскоре этот раскол был закреплён и институционально: из племени посмертников (претендентов на долгую посмертную славу) выделились *эфемеры*, из которых сегодня укомплектованы такие подразделения символического производства, как шоу-бизнес и *понса*, удерживающие звание художника в том же смысле, в каком обращение *господин* захватили булочник, сапожник и водопроводчик.

Полученная чечевичная похлебка, однако, повредила и тем, кто не собирался продавать первородство: жертвенный кризис в искусстве, безусловно, носит самый общий характер. Но есть ли из него выход, имеется ли способ вновь обрести благословение и придать своему изрядно профанированному занятию прежний характер священнодействия?

Ясно, что жертву надо возобновить и, поскольку прежнее приношение утратило ценность, нужно выбрать что-нибудь из дорогого и воистину ценного – и обречь на всеожжение или как-нибудь иначе отправить богам по быстродействующей почте (любая стихия подойдет). А что же самое дорогое есть у художника? Понятно что – его произведения, они же – его детища. Очень высока вероятность, что приношения из этого приплода будут угодны Господу. Иными словами, созидательная сила искусства сегодня как никогда прежде нуждается в жертвенном освящении и возобновлении.

Следовательно, нужно взять с собой *любимое детище* и проделать путь к жертвенному алтарю – так, чтобы успеть попроситься, чтобы успели это сделать и другие участники шествия, включая виртуальное сопровождение: пусть даже они видят картину-жертву первый и последний раз. От нее останутся прижизненные и посмертные изображения (копии, включая авторские), но само детище будет предано огню или другой стихии, обеспечивающей связь с трансцендентным, связь с богами. Характер священнодействия прочитывается даже в этом приблизительном описании. Детали могут быть какими угодно (как устройство жертвенников

⁷ Самые наблюдательные из писателей давным-давно осознали это обстоятельство. Вот что, например, говорил Лев Толстой: «Лучшее, что в нем есть, писатель отдает книгам – вот отчего книги его хороши, а жизнь дурна».

и распорядок самих церемоний), но суть в том, что жертвоприношение остается единственной альтернативой профанации в сложившихся условиях.

Ибо архивы переполнены, музеи забиты под завязку, судорожное производство опусов предстает как основное занятие бесчисленных авторов и созидание давным-давно уже перешло в захламление. Часть продукции удается обратить в товарную форму (так формируется совокупная бижутерия мира), подобные изделия выбывают из состава искусства, а их изготовители утрачивают знак отличия от прочих смертных, получая взамен оплату за труд. Но и те художники, которых никто не исключал из искусства, в результате глубокого жертвенного кризиса оказались как бы на обочине символического; их приношения-произведения, число которых уже воистину сопоставимо с количеством морских песчинок, давно уже встречаются без какого-либо придыхания (священного трепета), скорее со вздохом... Высокая болезнь, о которой говорил Пастернак, несомненно, лишилась своей высоты и была разжалована в обычную болезнь, то ли нервную, то ли психическую. Пришлось даже разрабатывать специальный курс лечения, получивший название арт-терапии: за умеренную плату врачи соглашаются выслушать рассказы страдающих воспаленным авторствованием пациентов, оценивать их рисунки, «картины маслом», всякие мелкие финтифлюшки, будь они из пластилина, из дерева или из гипса.

Как ни крути, выход через жертвоприношение оказывается единственным, и поскольку «собственные детища» попадают в разряд самого дорогого, то именно из числа лучших приношений должны отбираться жертвоприношения. Еще раз отметим, что конкретные детали могут быть весьма различны, не совсем ясно, как жертвенная практика коснется тех или иных видов искусства, ясно пока лишь одно – действенность лозунга «сим победиши!». Предварительный набросок мог бы выглядеть примерно так.

Холокост символического

Разрозненные попытки уничтожить собственное детище спорадически регистрировались на протяжении столетий. Тут можно ограничиться Гоголем и его сожжением второго тома «Мертвых душ»: нет ничего более далекого от жертвоприношения, чем утилизация бракованных заготовок. Новый цикл жертвоприношения и созидания начнется внезапно и в кратчайшие сроки обретет планетарный масштаб. Если перефразировать выдержку из «Ночного дозора», получится следующий текст:

Сотню лет продлится перепроизводство символического, заполнив все архивы и музеи. Но потом придет *великий иной* Художник и возобновит жертвенную практику. Он принесет в жертву богам лучшее из созданного им, и так начнется эра Нового Созидания, эпоха возобновленного завета.

Выставочные залы не исчезнут, но главными производственными участками искусства станут алтари Всесожжения, на которых и будет разворачиваться Холокост символического. Сначала таких художников будет вообще немного, может быть, только один, первый, самый решительный и отчаянный, который поймет в один прекрасный день, чем отличается Искусство от Искусства. Поймет, что отличается оно, Искусство, не сочностью красок, не расчетливостью композиций и не точностью линий, хотя все это тоже важно. Но отличие Искусства в его причастности к жертвенной практике, в том, что часть произведений и, быть может, лучшие из них прямиком отправятся на алтарь Всесожжения. И этот иной художник доставит туда свое детище – прямо из мастерской, с выставки, из музея – и предаст его огню. Под оставшимися снимками и посмертными репродукциями будет написано: оригинал принесен в жертву в такой-то день и час такого-то столетия. И Господь призрел принесенную жертву.

Практически нет сомнений, что первым в этой практике будет именно живописец, так сказать, представитель изобразительного искусства. Но за ним последуют режиссеры, музы-

канты, поэты и писатели; всем видам искусства предстоит найти способы причастности к жертвенной практике. Музыканты могут сыграть сочинение какого-нибудь великого композитора в звуконепроницаемом зале, где их никто не услышит, кроме Бога, и время от времени им придется возобновлять исполнение в пустоте, ибо именно для такого исполнения будет предназначено жертвенное приношение композитора и их собственное.

Для поэтов и писателей можно было бы предусмотреть самоуничтожающуюся бумагу, чтобы книга в определенный момент рассыпалась в прах – но наличие электронных носителей лишает этот жест подлинной радикальности. Быть может, действенным окажется обет молчания, добровольно принятый на себя поэтом, скажем, сроком на год. А для писателя – быть может, нечто подобное тому, что описал Борхес в своей новелле «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”», – пересоздание уже созданных произведений, где в жертву приносится собственное время и, так сказать, души прекрасные порывы. Необходимость причастности и тяга к жертвенности станут очевидными, когда художник начнет обретать свободу (например, свободу от товарной формы и пользаприношения вообще), а само искусство вновь начнет набирать мощь и созидательный потенциал.

Ну а музеи – представим себе, что они раз в год осуществляют жертвоприношение одной из драгоценных единиц хранения. Представим галереи и выставочные залы, где помимо вернисажей есть и день причастности к всеожжению символического – и не обязательно сам художник должен решать, что именно из его приношений потребуют боги. Ему достаточно знать, что *боги жаждут*, и надеяться на то, что когда-нибудь, быть может в этот раз, Бог отведет руку с поднесенным факелом.

Только так может быть восстановлено право на священнодействие, и как только оно будет восстановлено, появятся совершенно четкие отличия искусства от попсы: искусство присоединено к жертвенной практике, а попса от нее принципиально отключена. Художник может лишиться и любимого детища, и самой жизни, поскольку в священнодействии есть воистину опасные участки. Но шоумен сохранен и сбережен в гегелевском смысле, все, чем он рискует, это выйти из моды. А подлинный художник рискует еще и тем, что его жертва может оказаться *и негодной...*

Символ христианства

Уже было дано вытекающее из жертвенной практики определение божественного: право отвергнуть принесенную тебе жертву уже после того, как она принесена. Установили мы также, что если подобным образом поступают люди по отношению друг к другу, то это либо вероломство, которому нет прощения, либо любовь – отвергнутая, но не нуждающаяся в прощении, и потому божественная.

Бог волен призреть или не призреть принесенную жертву, это его привилегия. Но богам случалось приносить в жертву и самих себя – вспомним, опять же, скандинавскую мифологию. Но воистину покорил мир самым радикальным жертвоприношением другой бог. Это Иисус, Господь наш. Он принес себя в жертву людям – и так был введен в действие величайший созидательный потенциал, значительно превышающий возможности созидания, даваемые принятой, одобренной богами жертвой смертных. Но это еще не все: совершив собственное жертвоприношение во имя смертных, претерпев муки на кресте, Иисус оставил каждому возможность принять или отвергнуть эту жертву. Так было задано онтологическое и теологическое основание свободы – разумеется, не в смысле свободного поднятия руки и не в смысле Эпикурова клинамена. Произошедшее называется так: он сотворил человека свободным, и сделать это, сотворить человека свободным, можно только встречным жертвоприношением, которое он, *свободный*, как раз в этот момент может и не принять. Если сотворение человека есть непре-

рывный демиургический акт, то его сотворение свободным происходит на Голгофе – и продолжает происходить.

2017

2. Танец Шивы

Продолжая исследовать метафизику жертвоприношения, подойдем к теме с несколько иной стороны. Мы выяснили, что жертва должна быть положена в основание, чтобы постройка стояла прочно и устои не рухнули. Но все еще остается неясным, *почему* это так. Факт жертвоприношения многое объясняет в человеческом мире, важнейшие вещи опираются на жертвенную практику. Но на что само жертвоприношение опирается и есть ли смысл в подобном вопросе?

Далее: что есть сила духа? Для чего требуется танец Шивы? Почему невозможно творение без обратной связи и что есть в корне эта обратная связь? Таковы поставленные навскидку вопросы, и вполне вероятно, что вопросы, возникающие по ходу их разрешения, могут оказаться еще более насущными и важными.

Музыка гибели и танец смерти

Важнейшая функция бога Шивы, третьего из великой триады, состоит в том, чтобы разрушать мир. Сразу же возникает вопрос: а разве с этим незамысловатым делом сам мир не справится? Разве не начнет он естественным порядком рассыпаться и разрушаться, будучи предоставленным самому себе?

Мировая философия от Гераклита до Хайдеггера дала внятный ответ на этот вопрос: бытие к смерти и обреченность на существование суть две стороны одной медали. Всякая инерция ведет к мерзости запустения и представляет собой лишь отсрочку, какой бы почтенный срок эта отсрочка ни длилась.

Лучше всего это известно самому Шиве, ведь его ближайший соратник Вишну занимается как раз тем, что мир хранит. Он хранит каждое мгновение длительности мира изо всех сил, и не исключено, что степень его собранности, самоотдачи даже и не снилась ни созидателю Брахме, ни разрушителю Шиве. И все же получается, что миссия не выполнима. Она точно невыполнима в полном объеме, иначе без Шивы можно было бы и обойтись.

Здесь возникает парадокс, с которым предстоит разобраться. Если созданный или возникший мир обладает инерцией самосохранения или может быть удержан усилиями Хранителя – тогда или Шива не нужен, или усилия Хранителя будут направлены на предотвращение его вмешательства. Но дело обстоит так, что Вишну собственной волей и *в свой черед* уступает место разрушителю Шиве с одобрения Брахмы и, возможно, всех тех, кто склонен наслаждаться завораживающими движениями истребительного танца.

Но если мир не поддается сохранению, несмотря на все усилия, и сам стремится к гибели, то ведь получается, что Шива тем более не нужен. Работа разрушения будет выполнена и без его участия. Чтобы разрешить парадокс, у нас нет другого выхода, кроме как предположить, что разрушение разрушению рознь, и для подобающего истребления сущего нужен не просто особый агент, а особый бог, входящий в верховную триаду. И действует он на законных основаниях, если угодно, внимая зову. Как водится, лучше всего содержание зова передал Ницше:

«Все мы иссохли; и если бы огонь упал на нас, мы бы рассыпались, как пепел, – но даже огонь утомили мы.

Все источники иссякли, и даже море отступило назад. Земля хочет треснуть, но бездна не хочет поглотить!»

“Ах, есть ли еще море, где можно было бы утонуть”: так раздается наша жалоба – над плоскими болотами.

Поистине, мы уже слишком устали, чтобы умереть; и мы еще бодрствуем и продолжаем жить – в склепах!»⁸

Как и во всяком частном метаболизме, на уровне сущего и самого бытия тоже возникают сорные продукты времени. Совокупность таких отходов, конечных продуктов великого метаболизма, представляет собой *мертвое* – мертвое вообще. Но это мертвое не просыпалось в бездну небытия, а проникло в поры вещей – и продолжает проникать, препятствуя их обновлению и развитию. Хранителю Вишну не под силу предотвратить это неизбежное инфицирование жизнеспособного сущего семенами угасания – в результате ноша его становится все тяжелее, а витальность хранимого все меньше, и дух, который дышит, где он хочет, начинает задыхаться в запыленном и захламленном космосе. Воззвание, адресованное Шиве, постепенно усиливается и становится слышным всем. И бог должен сделать свою работу, она нужна как раз для того, для чего само жертвоприношение нужно.

Вспомним сказанное о самопожертвовании, точнее, об осознанном приношении в жертву самого себя. В этом радикальном акте происходит авторизация мира и собственного положения в нем. Самопожертвование составляет сердцевину героизма, а героизм представляет собой высшую ценность в любом жизнеспособном социуме – во всяком сообществе людей, желающих оставаться людьми. Как и всякая жертва, самопожертвование направлено против анонимных сил, им конституируется суверенность, происходит онтологическое осуществление глагольной формы «я есть», которая, в силу этого, становится вещей.

Еще раз констатируем: все мы смертны и можем умереть, не зная ни дня, ни часа своего. Но можем и выбрать этот час, произведя самую радикальную авторизацию, перестав быть простым смертным и перейдя в разряд героев. Излишне добавлять, что самопожертвование совсем не то же, что суицид, самоубийство от депрессии или отчаяния. Жертвоприношение есть праздник, а депрессия – его противоположность.

Самопожертвование – это опережение неминуемой смертности, замена анонимного личным, авторизованным и в этом смысле оно главный источник суверенности и свободы. Человек жертвующий как бы истребляет все отчужденное, все овеществленное в своей судьбе: в эту категорию попадает и собственное тело, поскольку оно переполнено отходами отработанного времени в виде инертных фракций – привычек, обыкновений, автоматизмов. Решается локальная задача по освобождению от юрисдикции *духа тяжести* (Ницше), но никто из смертных не может обрушить в бездну весь непомерный балласт «продуктов, отпавших от продуктивности» (Ф. Шеллинг). Такое по силам только Богу, только величайшему из богов. Только он способен решить задачу универсальным образом, и Шива истребляет мир, непоправимо инфицированный семенами усталости, угасания, невразумительности, метастазами мертвого, которые настолько тесно сплелись с жизнеспособными потоками времени, что отделить их каким-то иным, более щадящим образом невозможно. Ложка дегтя просочилась в каждую бочку меда, и даже в каждой ложке меда присутствуют следы надломленности и усталости.

К кому претензии? К Вишну, за то, что он не смог сохранить врученное ему юное творение? К Брахме, за то, что создал мир таким?

Шива не спрашивает, он приступает к исполнению своей незаменимой роли в судьбе творения. Быть может, и вправду есть случаи, когда гильотина – лучшее средство от головной боли, от нестерпимой боли и непоправимого помутнения разума – и случай Шивы именно таков. Он приступает к своей работе не как к работе, а как к мистерии, к вселенскому празднику жертвоприношения. Как можно описать этот гибельный танец, хотя бы в основных чертах? Ницше говорит о «праздничной жестокости» варварского и античного мира, задуманной

⁸ Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. – М., 1990. – С. 97.

как «фестивали для богов», – ибо кто из смертных способен найти подходящую точку обзора?⁹ Понятно, что это тем более относится к величайшему из возможных фестивалей.

Дело можно представить так. Истребляя отягощенное сущее слой за слоем, Шива выбирает подходящие танцевальные движения. Иногда это что-то похожее на вальс, заставляющий сгруппироваться осевшую в порах вещей усталость (а к началу танца у большинства вещей уже нет другой опоры). Порой Шива напоминает танцующего дервиша: стремительно вращаясь на одном месте, он как алмазный бур сверлит воронку, через которую бездна *могла бы* поглотить бесчисленные залежи пустой породы – и сама порода могла бы, наконец, провалиться. А иногда это воистину танец канатоходца, описанный Ницше, – с неожиданными пируэтами, с шестом, выполняющим роль знака вычитания – вычитания того, что прямо сейчас отправится в небытие. И это едва ли не все, что можно представить в трехмерном пространстве.

Зададимся теперь вопросом: каковы могут или должны быть результаты разрушительного танца Шивы, что в сухом остатке, или, говоря словами Хайдеггера, будет ли это нечто или вообще ничто?

Тут все зависит от того, как посмотреть. Говоря в общих чертах, мир должен быть возвращен к той развилке, где еще не началось непоправимое накопление «осадочных пород», метастазов роковой усталости от существования. И пока эта развилка не будет достигнута в противоходе, танец не прекратится. Лучше зайти *за край*, чем оставить какие-то зацепки (вирусы) даже не в вещах – они-то все отправятся в бездну небытия, тут без вопросов, – а в самом принципе овеществления. Говоря проще, после танца Бога не должно остаться в мире ничего материального. Но это не значит, что вообще ничего. То, что останется, лучше всего определить как готовность к созиданию, высшую форму требовательности уже иного зова, на который придется откликнуться самому Брахме: и это будет предложение, от которого он не сможет отказаться. Вытекает ли из этого спекулятивного описания смысл жертвоприношения? Отчасти да, ибо здесь имеется самое прямое указание на его космологический порядок.

Христианские параллели

Как в Ветхом, так и в Новом Завете жертвоприношение служит для объяснения важнейших деяний Бога, предстает как основание для богоизбранности, как неперемное условие соглашения, – но объяснения самого жертвоприношения мы не найдем в Библии. То, что объясняет все остальное, оставлено без объяснения.

Отчасти на помощь приходит пресловутый герменевтический круг, когда существенные или скорее даже сущностные обстоятельства жертвоприношения поясняют его демиургическую роль, при том что глубинные космологические корреляты все еще остаются разрозненными до тех пор, пока первенец не возведен на алтарь Всесожжения.

Вокруг двух жертвоприношений, Авеля и Авраама, выстроен первоначальный, Ветхий Завет. Сутью Нового Завета (и христианства в целом) является жертва Иисуса, учреждающая свободу воли и упраздняющая слепоту смерти. И вызывает некий провокационный вопрос: а нет здесь сходства с деянием Шивы?

Бог-терминатор уничтожает мир, необратимо и непоправимо отравленный отходами собственной жизнедеятельности, перенасыщенный несмываемыми следами поражений, неудач, ошибочных выборов... Согласно христианской эсхатологии, мир лежит во грехе, при этом грехи суммируются, а освобождение от них откладывается вплоть до грядущей великой чистки. Кое-что удаётся «смыть» при жизни, но все же каждое поколение добавляет новый пласт не смытых грехов – они, вероятно, выполняют роль помех, в связи с чем все труднее становится устанавливать надежную связь с трансцендентным: сужается зона непосредствен-

⁹ Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. – М., 1990. – С. 448–449.

ной слышимости Бога, причем в оба конца. И ему все хуже слышны молитвы смертных, и людям – его повеления. Европейская метафизика, разумеется, отмечает этот факт, определяя его как смерть Бога (Ницше), прогрессирующее забвение Бытия (Хайдеггер) или нарастающую богооставленность¹⁰. Накопление или, лучше сказать, загрязнение (ползучее омертвление) будет прогрессировать вплоть до Второго пришествия. А затем начнется Армагеддон, призванный отделить спасаемое от неспасаемого, что и является общим смыслом всех перечисляемых фильтраций: зерна от плевел, агнцев от козлиц и так далее.

В чем же отличие Второго пришествия Иисуса от очередного выхода Шивы на авансцену, случающегося в конце калиюги? И психологически, и экзистенциально решающее различие видится, конечно, в том, что жертвоприношение Иисуса было самым радикальным в истории – именно поэтому, в отличие от Иисуса, Шива вынужден совершать свой танец снова и снова.

Но задержимся пока на моменте общности и единства. Обратим, прежде всего, внимание на то, что ни Брахма, ни Иегова и вообще никто из богов не может сотворить вечный, не подверженный времени мир. Говоря конкретнее, никому не под силу создать мир, который бы не портился, не накапливал в себе следов коррупции (в самом широком смысле, совпадающем с латинским *corruption* – «ржавление», «порча»), болезни, усталости, метастазы угасания, неважно, назовем ли мы их грехами или как-то иначе. Как заметил еще фон Икскуль, смерть есть главное сущностное свойство всего живого.

Соответственно, во многих космогониях была отслежена или интуитивно постигнута единственно возможная превентивная мера, которая в самой краткой и самой христианской форме звучит так: «Смертью смерть поправ». И мы можем переписать ее в качестве столь же универсального совета, если отчаявшийся хранить мир бог спросит, что делать. *Смертью смерть поправ!* – вот что можно ему посоветовать – и это значит: сработай на опережение или все пропало. Вообще все. Правка, вносимая жертвенной смертью, собственно, и оказывается главной очистительной процедурой, единственным действенным средством обновления мира вплоть до самых его основ. С тем, что христианство обновило мир, никто, кажется, и не спорил, даже Ницше. Действительно, последние стали первыми, камень, отброшенный строителями, был поставлен во главу угла. Однако не проясненной остается роль Голгофы в этом обновлении, жертва Иисуса и обретенная свобода его последователей. Вот что пишет об этом Питер Браун, ведущий современный историк христианства:

«Аскетическое движение, само понятие девственности, понятие celibata были загромождены массой нынешних предрассудков, история начинается с того, что избавляется от таких вещей. Сразу от всего – начиная с описаний монашеской жизни, которые дает Эдвард Гиббон, – и вплоть до относительно современных сочинений. От всего этого надо избавиться. Это первое. Вторым ходом ты говоришь себе: хорошо, от всех этих предрассудков ты избавился, замечательно. Но о чем же там речь шла на самом деле? И мне по ходу дела становилось ясно, что речь в аскетическом движении шла, главным образом, о свободе. Каковы пределы человеческой свободы? До какой степени человек может изменить свою природу? Является сексуальность чем-то обыденным, что надо просто уважать? Нужно ли относиться с подозрением или даже с презрением к любой попытке от нее отказаться? Или там есть нечто большее?»¹¹

Именно так. Целибат и монашество в раннем христианстве – это проба высокой свободы, подражание Иисусу, воистину даровавшему такую свободу.

Но между вселенским жертвоприношением и вторым пришествием лежит целая толща времен. Ресурсы обновления постепенно расходуются, мельчает и сама свобода в смысле

¹⁰ См.: Секацкий А. *Онтология лжи*. – СПб.: Трактат, 2017.

¹¹ Браун Питер. Неторопливые размышления об ином. Интервью Rigas Laiks, 2016, весна. См. также: Peter Brown. *The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity*. Californian University Press, 1988.

неуклонного сокращения ее диапазона: сегодня любой «свободный выбор» строится по модели потребительского выбора между равноценными товарами. Ситуация и вправду дошла до той точки, которую пророчески описал Ницше: земля хочет треснуть, но бездна не хочет ее поглотить.

Итак, своей жертвой Иисус санкционировал свободу воли, но он не мог гарантировать автоматического очищения всей толщи времен. Следовательно, и перед ним встает проблема отделить оводов (агнцев) от козлиц, спасенное и подлежащее спасению от того, что уже *не спасемо свыше*. Отсюда и неизбежная близость Армагеддона к танцу Шивы – даже если тональность музыки гибели в обоих случаях различна.

Направление главного удара

Еще один вопрос, все еще остающийся неясным, это попытка некой общей атрибуции «материала», приносимого в жертву. Кто и что? Мы уже присмотрелись к самой радикальной очистительной жертве, но она приносится богами, и если и доводится до осознания смертных, то без объяснения причин. А как обстоит дело для самих смертных, что служит их высшим экзистенциальным деянием? Материалы антропологии, конечно, немало сообщают нам на этот счет: первенцы, невинные девушки, овны, агнцы, быки, кое-что из военной и охотничьей добычи, кое-что от тука земли. Ассортимент такого рода и критерии отбора исследованы достаточно подробно и хорошо.

Но есть веские основания полагать, что какая-то существенная часть жертвенного ассортимента остается не-проясненной. Эта темная, или тайная, жертвенная практика, отдаленно (и, конечно, крайне приблизительно) напоминающая известное изречение «бей своих, чтобы чужие боялись». Более того, используя внешне иронический и глубинно эзотерический план, свою версию выдвинул Пелевин в повести «Омон Ра». Что должен принести в жертву космонавт, перед тем как выйти в просторы космоса, какую инициацию ему нужно пройти?

У Пелевина он должен подвергнуться ампутации, лишиться ног – и тогда космос примет его как своего праведного обитателя. Вроде бы смешно. Но вот уж воистину тот самый случай, когда продолжать смеяться легче, чем закончить смех. Великий русский космист Николай Федоров отказался от семьи и налаженного быта, спал на сундуке и обычной его едой был чай с размоченными пряниками. Но жил он в космосе и описывал хороры планет, которые будут устраиваться во имя воскрешения мертвых. Как если бы космос распахнул ему свои просторы – тут даже не скажешь: в обмен на повседневный комфорт, отказ от которого был всего лишь минимальным условием, – скорее, в ответ на то, что близкородственное и частное было принесено в жертву дальнородственному и универсальному... Но ведь и глухой Циолковский, слышавший зов далекого и самого дальнего, и многие другие причастные к космонавтике, быть может, наиболее пламенные из них, прошли через самопожертвование – и были допущены, и космос приоткрылся пред ними. В конце концов жертву принесло и все человечество, и все общество – светское общество, многим материальным пожертвовавшее во имя космонавтики, пожертвовавшее добровольно и без сожаления.

Но оставим пока эту тему. Важнее всего здесь универсальный принцип: *близкое отвергается ради далекого* и свое собственное ради иного. Насчет универсализма, конечно, возможны поправки и даже, если угодно, ограничения: речь идет именно о *так устроенных мирах*, то есть о мирах жертвенно-аскетических, если прибегнуть к дальновидной терминологии Ницше. Тем самым предполагается представление и о мирах иного типа, вроде астрономических объектов, среди которых есть квазары, пульсары, белые карлики...

Казалось бы, откуда можно получить представления о других мирах и их устройстве, тем более если различие проходит по решающему параметру основы жизни и созидания? Допу-

стим, наш мир принадлежит к жертвенно-аскетическим – откуда тогда мы можем знать об иных принципах мироустройства?

Но дело обстоит еще сложнее и запутаннее. Земля, несомненно, «аскетическая планета», а жертвоприношение есть важнейшая долгосрочная причина вочеловечивания, сила, противостоящая и препятствующая угасанию. Однако при этом, будучи ярко выраженным миром жертвенного типа, земля еще и замаскирована под мир сплошного имманентного пользоприношения. На все лады мы слышим распевы о том, что деньги правят миром и люди гибнут за металл... И рассказы о тех, кто за копейку удавится. Более того, представитель инопланетной цивилизации, которому довелось бы посетить сей мир, поначалу согласился бы, что это мир, где пользоприношение является важнейшим межчеловеческим отношением. Потребовалось бы хорошенько осмотреться и присмотреться, пожить среди людей, чтобы правильно определить действительно господствующую силу, чтобы убедиться, что участки пользоприношения (например, корыстного добра) были однажды *учреждены* великими жертвоприношениями, актами благородного добра. Тотальное пользоприношение относится, безусловно, к порядку явлений, к категории видимости и иновидимости.

Более того, для всякого, пожившего на Земле, остается неясным, возможны ли вообще миры, устроенные по принципу рационального пользоприношения, если уж Земля, столь эффективно и тщательно замаскированная под «голимую корысть», в действительности в своих глубинах, там, где еще не «вывихнуты суставы времени» (Шекспир), обнаруживает важнейшие пустоты, где принцип пользы (включая «разумный эгоизм») не работает: он там не задан как направление стрелки компаса на полюс. Стрелка дрожит и вращается, ее только предстоит установить или переустановить, выбрав некую дирекцию пользоприношения из целого пучка открывшихся (чрезвычайно пунктирно) траекторий пользоприношения – при том что эти дирекции могут быть как-то связанными друг с другом, а могут быть совершенно не связанными или даже противоположными. И я бы сказал, что полярная точка с исходящими пучками пользоприношений топологически, а в некоторых случаях и топографически есть координата жертвенника, возможно, Алтаря Всесожжения. Всякая линия земной пользы, любого частного утилитаризма (каким бы естественным он ни казался), если проследить ретроспективно их истоки, берет свое начало от некой жертвенной координаты. Или, иными словами, всякий утилитаризм, в котором задано корыстное добро («всеобщая польза»), учреждается Жертвоприношением, топологическим прорывом к суверенному выбору, к полюсу, где координаты привычного обрываются или не заданы вообще.

Поскольку топография жертвенных координат опоясывает шар земной вдоль и поперек, мы без колебаний относим Землю к жертвенно-аскетическим планетам: таков ее собственный внутренний глобус, который хорошо виден на дистанции и проясняется путем трансцендирования, – но при взгляде из зоны слишком человеческого картина, безусловно, смазывается, отсюда Земля и вправду предстает неким «утилитроном», то есть сугубо рациональной планетой, достаточно примитивно и предсказуемо устроенной. Стало быть, перед нами как минимум «двойная звезда», если уж задействовать максимальное количество астрономических аналогий. Конечно, взгляд метафизика, такого как Достоевский, Ницше или Батай, непременно упрется в координаты жертвы, аскезы и суверенности, откуда бы ни был брошен взгляд: из подполья, как у Достоевского, или с альпийских вершин Заратустры – Ницше. Но, с другой стороны, обитатели утилитарного мира, ходящие по дорожкам выгоды и пользы, видят на этих дорожках, опоясывающих планету, множество подобных же людей, вступают с ними в общение, преимущественно общение приветливое. В частности, их интересует вопрос о легкодоступности или труднодоступности добра, которое в таком контексте неотличимо от пользы.

Сознательно и бессознательно они, ходящие по делам пользы, извлекающие ее, несущие и приносящие ее, вытаптывают другого рода тропки, а заодно затаптывают и переходы в те измерения, где проложены тропы жертвенности и суверенности. Не удивительно, что планета

для них становится все более освоенной и все более своей, а люди иного глобуса, попадающие им на пути с легкими пустыми корзинами, в которых не переносится ни грана пользы, а вместо этого есть поклажа непонятого предназначения – жертвенные треножники, какие-то книги, – эти другие кажутся населению освоенной планеты варварами и пришельцами.

Впрочем, спектр взаимоотношений включает в себя и такую удивительную, причудливую линию, как взаимная жалость. Занятое полезными делами (пользоприношением) население по-своему жалеет обладателей пустых корзин, склонных забывать, а то и вовсе не думать ни о собственной, ни о «несобственной», то есть всеобщей, пользе. Операторы пользоприношения порой не прочь подкинуть какой-нибудь пользы и им, бесполезным, но в ответ видят они отнюдь не признательность, а, скорее, недоумение и встречную жалость...

Почему? Да потому, что идущие по жертвенным тропам и по направлению к жертвенникам *видят* свою карму. Они видят аборигенов, сгибающихся под тяжестью приносимой и переносимой пользы (как будто мало им тяжести смертного удела и тесноты оставшихся измерений), – но не это угнетает их, видящих, ведь они и сами атлеты духа – и кто бы из утилитарных носильщиков взялся оценить весомость их собственной ноши? Пронизывающую жалость вызывает, скорее, другое – тщета обустройства. Ведь ясно, что операторы ratio, чемпионы пользоприношения, озабочены обустройством своей планеты и хотят, чтобы каждый мог приносить пользу, хоть какую-то и хоть кому-то. Что же плохого в таком обустройстве и в постоянной заботе о нем? Идущий иными тропами, однако, знает, *что именно* плохо и достойно жалости, поскольку он знает, для чего предназначается танец Шивы, знает и приметы его приближения – они прекрасно видны на другом глобусе. Дело в том, что утилитарное обустройство окрестностей, внешних и внутренних, безусловно, приумножает в мире количество вещей и всего вещеподобного. Операторы утилитарности (так правильнее называть жрецов пользоприношения) могут быть довольны, глядя на расширение полезного: сколько пригодных вещей и сколько рациональных овеществленностей!

Но многое, слишком многое, бывшее утилитарным еще вчера, сегодня становится, так сказать, просто «утильным». И утилитаризм в своей беспрекословной последовательности как раз и производит утиль, его груды скапливаются повсюду. Утилизировать некому и некуда, только Шива в определенный момент может вернуть мир к сингулярной полярной точке своим танцевальным жертвоприношением – или огонь Армагеддона утилизирует неспасаемое старье, не столько вещей, сколько самой вещественности – и в этом главный источник жалости обитателей жертвенного глобуса к населению Земли Пользоприношения. Воистину скорбны заботы приносящих пользу, скорбны и плоды их, ибо и то, и другое *не спасаемо свыше*. Ведь где сокровище ваше, там и сердце ваше.

Можно перефразировать замечательную максиму Паскаля: если ты пахарь, пусть смерть застанет тебя в поле, если моряк – в море под парусом, если учитель – пусть застанет она тебя в классе, ибо такова праведная смерть.

В нашем случае, касающемся субстанции жертвоприношения, получится что-то вроде следующего:

Если ты покоритель космоса и тебя влекут безбрежные расстояния, влечет сама даль, то в жертву принеси свою подвижность здесь (например, собственные ноги) – и тогда твоя жизнь будет как повесть о настоящем человеке. И как история о настоящем космонавте. Если ты ученый, избравший дисциплинарную науку, – принеси в жертву интуицию времени, включенность в стихии самой жизни, научись делать выводы по оставленным следам, по косвенным уликам и вещественным доказательствам – иными словами, по крошкам, упавшим со стола, за которым идет пир свершившегося и свершающегося Творения. И в награду ты создашь подтверждаемую теорию и тебя признают настоящим ученым. Ибо в действительности знаменитая притча Платона о пещере – это притча об удивительном человеческом знании в форме науки. Просто у Платона опущено самое начало, то, как люди решили принести в жертву солнечный свет,

некую простую очевидность, и поселиться в пещере, чтобы довольствоваться отбрасываемыми тенями, преломленными отражениями и бликами. И в награду им было дано объективное знание, все составные части которого можно безнаказанно регистрировать и менять местами, не рискуя повредить что-либо в воплощенности сущего. То есть боги призрели эту невероятную жертву познающих и даровали взамен науку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.